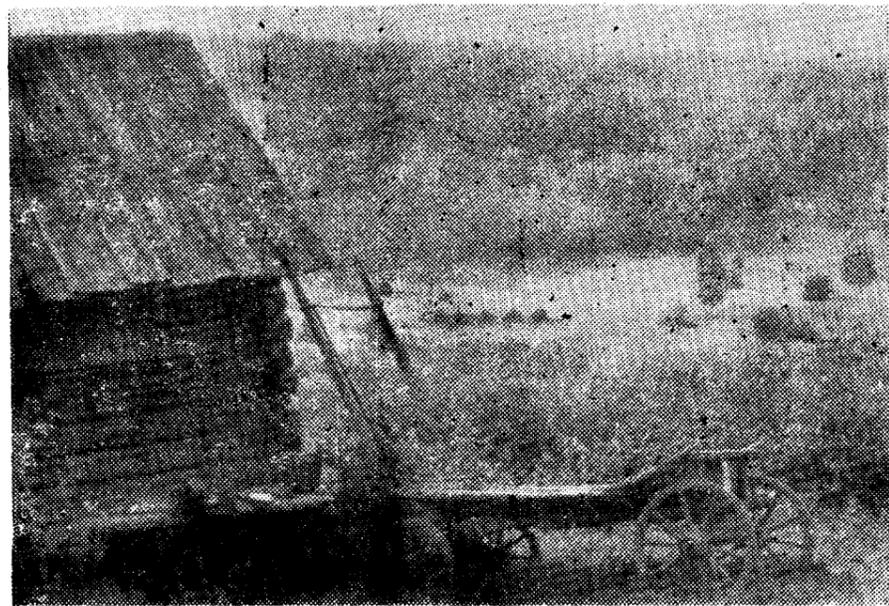


## Творчество наших читателей



Николай ЯКШИН.

Будто на руки сдали четыре туза,  
Я живу, дурака веселей, —  
Золотые занозы пронзили глаза  
И блуждают по крови моей.  
Если, темень клаяня, безнадежные дни  
По привычке ко мне залетят —  
Собираются в кончиках пальцев они  
И чернила мои золотят.  
По запретному имени льдиной скользну,  
Зазвенит возмущенно оно.  
Ну, казни же скорей, чтоб стекало в казну  
Забродившее в жилах вино.  
Вот тебе голова. Хочешь, в корень руби,  
На высокое вздешь острей  
В назиданье горячим, горячим, другим,  
Хочешь, буйную, милуй ее.  
И опять я живу, дурака веселей,  
А и меч дураку не указ,  
Если он наглотался каленых углей  
Из твоих распалившихся глаз.  
Не затем ли Господь белый свет сочинил,  
Чтоб я думал, затылок скребя,  
Как бы мне дураку золоченых чернил  
Повернее плеснуть на тебя.



Дорогие места. Фото А. Емельянова.

Галина УСТИНОВА,

техник-конструктор проектно-конструкторского отдела комбината.

## НЕТ ПРОБЛЕМ?

Конечно, утопиться в настоящее время не так-то просто. Начнут кворум собирать. Поправки вносить. Комиссиям поручать. Консенсус, естественно, не будет. Гласность и плюрализм мнений — пожалуйста, хоть сейчас. А консенсус — на-ко-сь выкуси.

Поэтому Ихтиандр Обмылков решил молчать. А и то сказать — ведь не каждый день видишь, как живой человек топится. Особо нервные начнут по берегам бегать. Душераздирающе кричать. А то еще в воду полезут. И за компанию утонут. А ему за чем?

И Обмылков никому ничего не сказал перед тем как решиться на такой, прямо скажем, судьбоносный шаг.

Он стал молчать, как рыба. Целый день на диване без звука лежит. Газеты через строчку читает. Кофе без аппетита принимает. Словом, отходит человек в мир иной.

На работу, на эту станцию ОСВОД, и то перестал ходить. Там граждане уже почти все лодки разворовали. Весла поломали и грибок со столиком из песка выдернули. Хотя за грибок гражданин Обмылков уголовной ответственности не несет.

И все-таки Ихтиандр проговорился. К нему друг пожаловал. Такой весь из себя бывший моряк Степка Кукарешкин. Его из ОСВОДа за кражу поперли. А если жить не на что? Хотя кража не помогла. Яхту в комиссионке не взяли.

— Нам платья и пальта нскуда вешать, — сказали, — а тут яхты. Вы бы еще

лицкор приволокли.

Так что продать удалось только паруса. Из них соседка пододеяльник себе сирворила.

А на вырученные деньги Степка купил две бутылки «Столичной» и закусь. «Дай, — думает, — узнаю, чего это задумал этот старый кот».

Пришел. Видит — личность на диване ужасно храпит. «Ой, — думает, — ко-го это я решил проведать. Не похож, — думает, — на Ихтиандра-то».

На всякий случай растолкал. Оказалось — Ихтиандр, собственной персоной. Только какой-то некрасивый. Морда — кафельного цвета. Волос небритый. Без галстука. Сел на диване и ничего то есть не понимает.

Потом, конечно, узнал. Вату из ушей вынул. Морду сполоснул. Шнурки нашел. А ботинок нет и нет. Как, извините, корова языком слизнула. «Ладно, думает, — выпить и промочить горло я и босиком могу».

После первой — молчит. После второй только кашлянул два раза. Тут Степка Кукарешкин, конечно, не выдержал. Как заорет!

— Свистать всех наверх, — говорит. — А ну, выкладывай как на духу — ты чего это задумал?

Ну, тут Ихтиандр и раскололся. Выдал свой инди-видуальный секрет. Мол, хватит. Пушай теперь другие мучаются. Зарплата, мол, от утопленников зависит. А их, как назло, катастрофически не хватает. Унитаз вторую пятилетку достать не может. В общем, решил он в один прекрасный день утопиться.

Степка, само собой, возражать не стал. Кому какое дело? Не надо человеку мешать. Пусть безболезненно реализует свою мечту. Может, через это у него настроение возникнет. И он поновой начнет воспринимать суровую действительность.

Да только бывший моряк Степка Кукарешкин не дурак. Он эту мечту Обмылкова решил по-своему воплотить. И получить на фоне этого хорошее вознаграждение. И тем самым поправить свое шаткое благополучие.

Он никому ничего не сказал. В округе на три версты никто ничего не знал. Будучи интеллигентом в душе, он не стал привлекать посторонние массы. Только нам и рассказал, что собирается спасти от потопления гражданина Обмылкова. Так что из всего населения СССР только 27 человек и знали об этом факте.

Конечно, это убийственно мало. И, как истинные друзья, мы хотели, чтобы об этом узнало как можно больше населения. Но Кукарешкин показал нам огромный, как ящик, кулак. С этим аргументом несогласных не нашлось.

Словом, в назначенный день для потопления гражданина Обмылкова мы все, как истинные христиане, выпили за помин раба божьего Ихтиандра Обмылкова. Закусили кое-как. Еда, сами понимаете, в такой момент плохо в горле проваливается. Не каждый день живой человек топится. Сидим. Горюем почему-то.

Вдруг видим — личность идет. Ничего необыкновенного. Весь в удочках и пид-

жакетом. В руке — сумка. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него. Он идет к нам. Мы все смотрим на него.

## По страницам печати

ЖЕСТОКИЙ  
БРИЛЛИАНТОВЫЙ РОМАН

А. ЕРШОВ, Н. СЕМЕНОВ, спецкоры «Карт-Бланша»

(Начало в № 120—126)

## БОРИС БУРЯЦА

Видимо, за подобными делами стоят люди, которые и сегодня находятся у руководства. Причем, облечены они большой властью, если могут держать в узде третью, как мы теперь называем судебную, власть. И точка, которую в отношении крупных мафиозных дел явно в последнее время хочет поставить союзная прокуратура, представляется явно поспешной... О чем мы еще поведем разговор в конце этого материала...

Пока же вернемся к Буряца. Во время нашего разговора в суде З. И. Корнева не подтвердила, но и не опровергла того, что Бориску вменили спекуляцию дубленкой и лифчиками. Так оно, похоже, и было на самом деле.

И здесь любопытно обратиться за помощью к редкой книге: «Комментарий к Уголовному Кодексу РСФСР».

Что же такое спекуляция с точки зрения законодательства? Читаем комментарий к статье 154-й:

«Спекуляция — умышленное преступление. Лицо создает, что скупает товары или иные предметы для перепродажи с целью наживы... Вопросы о наличии в действиях лица спекуляции в крупных размерах должны решаться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, с учетом количества скупленных и перепроданных товаров, их ценности и размера, полученной или возможной наживы. Крупный размер возможен при спекуляции как несколькими предметами, так и одним предметом большой ценности».

Обратите внимание: нет ни одной конкретной цифры. Все зависит от судьбы. Решит он, что «дубленка и лифчики — предметы большой ценности», такой и приговор получится.

Указание сверху суд выполнил. Шуба Бориса «потянула» как раз на спекуляцию в крупных размерах.

Итак, 7 лет лагерей. В Красноярский край, в исправительную трудовую колонию усиленного режима, его везли как важного государственного преступника:azole камеры в вагоне поезда неотрывно дежурили солдаты с автоматами и собаками.

«Я почти не сомневалась, — говорит Ольга Ивановна, — из колонии брату уже не выйти. Какую-нибудь аварию обязательно подстроит. После всего, что видела в Москве, поняла — на слишком большую и страшную высоту Боря занесло. А для большинства тех людей — он пришлый, безродный сибиряк. Но вот съездила в Цаньби на свидание и немного успокоилась. В лагере к нему все хорошо относились. И руководство, и заключенные. Никто не притеснял. Больше того. Начальник колонии как-то увидел брата во время обеда и поразился, как тот красиво ест даже арестантской ложкой. Вызвал к себе: «Слушай, научи и меня столовыми приборами пользоваться...» Так Борис стал преподавателем хороших манер».

НЕОБХОДИМОЕ  
ОТСТУПЛЕНИЕ

Сейчас совершенно ясно — Борис получил еще один урок «большой высоты»: парень, не зарывайся, мы можем все. Никогда не писал, не жаловался, оставил койку в покое, словом, умницей вел себя в зоне — получай в подарок вольный воздух. Могло быть гораздо хуже? Не сомневайтесь? Вот и думай, как жить дальше..

Но, честно говоря, пока Борис не вернулся из лагеря, в любой момент ожидала какого-нибудь неприятного известия».

В 1983 году, во время короткой «андроповской» атаки на мафию, к Буряца в колонию приезжали несколько человек из Москвы. Предложили: «Напишите, пожалуйста, о вашем деле все, что считаете нужным, и составьте ходатайство о помиловании». Борис ответил: «Мне ничего не надо. Пусть ко мне относятся, как ко всем остальным заключенным».

Словом, четыре года в заключении прошли без особых событий.

Хотя одно все же случилось.

«Встречает нас как-то рядом с домом, — вспоминает одна из сестер, — элегантно красивая дама. Лицо почему-то знакомое оказалось, в кино видела. Наталья Дрожжина, известная киноактриса. Просит: «Дайте, пожалуйста, адрес Бориса. Я хочу выйти за него замуж». «Но он же в тюрьме...» «Я в тюрьму, — говорит, — и поеду».

И действительно, поехала. Взяла с собой целую кучу подарков. Раздала всем. В лагере они подали заявление и зарегистрировались. Так Борис женатым человеком стал. Ненадолго, правда.

Прошло несколько месяцев, как узнаем: Дрожжина брак официально расторгла.

В свой приезд в Москву захожу к ней домой — а они с братом в одном подъезде жили. Встретила хорошо, а самой, вижу, так неловко.. «Наташа, в чем дело?» — спрашиваю. Она помолчала и говорит: «Я тебе честно скажу... Только я из зоны приехала, вызывают на Петровку и ставят ультиматум: «Если не разойдешься, карьера в кино закончится, все заграничные поездки тоже. Не забудь и про брата, ведь он у тебя золото на Колыме моет?». В общем я струсила...».

Написав «прошло четыре года», мы не ошиблись. В мае 1985 года Буряца условно освобождают и посылают на стройку народного хозяйства с обязательным привлечением к труду сроком на три года и шесть месяцев.

Чуть больше года на «химии», и начальство спецкомандатуры № 2 Саяногорского ГОВД пишет: «За время отбывания наказания на стройке народного хозяйства условно осужденный Буряца Б. И. зарекомендовал себя только с положительной стороны...».

26 сентября 1986 года Борис оказывается на свободе. Теперь в Краснодар, к родным.

НЕОБХОДИМОЕ  
ОТСТУПЛЕНИЕ

Сейчас совершенно ясно — Борис получил еще один урок «большой высоты»: парень, не зарывайся, мы можем все. Никогда не писал, не жаловался, оставил койку в покое, словом, умницей вел себя в зоне — получай в подарок вольный воздух. Могло быть гораздо хуже? Не сомневайтесь? Вот и думай, как жить дальше..

## БОРИС БУРЯЦА

А что на самом деле дальше?

Родственники настаивают: «Оставайся жить в Краснодаре, не возвращайся в Москву! Они от тебя отстают!».

Борис непреклонен: «Вы от той жизни далеки. А я без Москвы не могу. Если захотят убрать, достанут и здесь».

Решено — в Москву!

НЕОБХОДИМОЕ  
ОТСТУПЛЕНИЕ

Финал теперь, увы, просчитываем. Стоп! У кого же из классиков встречалось нечто подобное? Да, Владимир Набоков, повесть «Приглашение на казнь»:

«Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, прижав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отливал. Засим Цинцинната ответил в крепость.. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда провалился, как человек, во сне увидевший, что идет по воде; но вдруг усомнившись: да можно ли?».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».

Итак, подбираемся к концу. Первая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакового чтения, легонько ошупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг ни с того, ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, соохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — твердая, недоспелая). Ужасно! Цинцинната снял шелковую безрукавку, надел халат и, приоткрыв, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста Цинцинната написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь я предчувствовал этот финал...».